

интеллектуалов. Для этого нет ни специальных фондов, ни особой политики со стороны областной администрации. «Утечка мозгов» идет и в Москву, и на Север. Оставшаяся масса серых провинциальных интеллектуалов тихо срастается с администрацией органов власти для обоюдного повышения «качества жизни».

В пространстве культурных координат, во-первых, Тюмень есть провинция Москвы, во-вторых, Тюмень не есть провинция Москвы, а есть самобытная земля Западной Сибири. Интеллектуальный потенциал Тюмени в равной мере определяется обеими координатами. Москва дает образование и чин, Сибирь дает характер и, говоря словами Л. Н. Гумилева, пассионарность. В Тюменском регионе рождается много талантов, но и гибнет немногим меньше. В этом смысле интеллектуальный потенциал Тюмени динамичнее московского. Творческая личность в Тюмени более одинока и более никчемна, чем в столице. Если в столице есть прослойка придворных ученых, писателей, художников, то в Тюменской провинции есть место только для творческих дворняг. В лучшем случае они имеют соответствующее специальности место работы, но и это встречается не часто. Самое парадоксальное состоит в том, что в Тюмени два интеллектуальных потенциала: один для нее слишком высок, второй (массовый) слишком низок. Это типичное следствие отсутствия в убого-провинциальном городе своей «публики».

Если наше предположение об усилении Москвой своей «столичности» верно, то верным будет и прогноз о провинциализации всей страны. И если в такой политической ситуации не занимать пассивной позиции, то очевидно, что надо иметь городу (тем более областному центру) свою особую *программу депроvincialизации*. Без наличия подобной программы и ее осуществления интеллектуальный потенциал Тюмени будет принимать все более карикатурный вид, в духе сатиры Салтыкова-Щедрина.

Сергей Васильевич ТУРАЕВ — ведущий современный германист, автор работ по истории немецкой литературы, связанных, прежде всего, с ее классическим периодом, с эпохой Просвещения: «Гете: очерк жизни и творчества» (1957), «Георг Веерт и немецкая литература революции 1848 года» (1963), «Гете и формирование концепции мировой литературы» (1989) и многих других. В пятитомной «Истории немецкой литературы» ему принадлежат основополагающие статьи (том 3), Сергей Васильевич является ответственным редактором V тома «Истории всемирной литературы» 1988), посвященного XVIII веку.

Сергей Васильевич Тураев

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ТЮМЕНЦА

До революции тюменское Заречье было небольшим центром кожевенного производства — десятки кустарей занимались обработкой шкур разных животных. И когда человек спускался с нагорной части города и переходил по наплавному мосту через Туру, на другой стороне его одурманивал пряный запах кожи и обработанной ивовой коры, которая использовалась при дублении кожи. Эта разбитая, как бы размолотая, кора — «отдубина» — применялась для мощения улиц.

Улицы Тюмени утопали в грязи. Но здесь, в Заречье, можно было пройти сухой ногой по мягкому тротуару из «отдубины».

Был в Заречье небольшой кожевенный завод, на котором мастером-закройщиком работал Василий Сергеевич Тураев. Происхождение его фамилии не очень понятно. Фамилия это татарская (недалеко от Тюмени есть татарская деревня Тураево). Василий Сергеевич был уроженцем Вятской губернии, сам он родом из села Архангельское Нолинского уезда. В 1910 году (ему было 38 лет) он женился на молодой вдове Анне Ивановне Кривошеиной из села Перевалово (20 километров от Тюмени), вышедшей из крестьянской семьи. Через год у них родился сын. Маленькая девочка из соседской семьи подошла к новорожденному и пролепетала: «Селеза». Непостижимо, откуда эта крошка (ей было три с половиной года) знала (слышала?) это имя и почему она произнесла его в этот момент. Но родители решили, что это хороший знак, и назвали меня Сергеем.

После меня у матери было еще трое детей, но все они умирали в первый месяц жизни. Последние роды привели к тяжелому заболеванию, последствия которого оказались роковыми. В начале тридцатых годов надо было сделать операцию, но в Тюмени в это время не было ни одного хирурга, который мог бы ей помочь (единственный городской хирург отказался). Она умерла в марте 1932 года, когда я учился в Пермском пединституте.

Отец в 1916 году окончил бухгалтерские курсы и получил место бухгалтера в конторе лесопильного завода, который находился недалеко от вокзала, по другую сторону железной дороги. Там мы и получили квартиру, в которой было проведено электричество. В 1916 году это воспринималось как чудо. Став бухгалтером, отец не только изменил профессию, но и перешел в другое сословие. Он стал членом приказчиьего клуба — это была единственная организация, объединившая «белые воротнички» — там были служащие, учителя. На сохранившихся фотографиях отец выглядит как интеллигент.

Одно из самых ранних воспоминаний детства — Февральская революция 1917 года. Был ясный солнечный день. На всю жизнь запомнилось всеобщее ликование: «Царя свергли!» На привокзаль-

С. В. Тураев окончил Пермский педагогический институт, затем, после службы в армии, ЛИФЛИ. О своих преподавателях А. А. Смирнове, С. С. Мокульском, Н. Я. Берковском, Б. М. Эйхенбауме, Г. А. Гуковском он рассказывает в воспоминаниях «Мои учителя, мои старшие коллеги»¹. Кандидатскую диссертацию о творчестве Вакенродера С. В. Тураев написал под руководством В. М. Жирмунского. Защита состоялась 24 июня 1941 года. С. В. Тураев прошел войну, был переводчиком на Нюрнбергском процессе. С 1955 года он работает в ИМЛИ РАН, в течение многих лет возглавляет Комиссию по изучению творчества Гете и культуры его эпохи при Научном Совете РАН, работу которой отражают знакомые каждому филологу сборники «Гетевских чтений».

Родился С. В. Тураев в Тюмени 14 (27) июня 1911 года. Недавно он описал свои «тюменские» годы и то, что в его восприятии связано с ними, — по существу, связь эта проходит через всю жизнь ученого, не прерывается и сейчас. Его интерес к Тюмени, Тюменскому университету глубок и постоянен. Сергей Васильевич передал в дар кафедре зарубежной литературы несколько своих книг; несмотря на огромную занятость (подготовка новой книги) и слабое зрение, он сосредоточенно работал над публикуемыми «Воспоминаниями». В 2001 году С. В. Тураеву исполняется 90 лет. «Воспоминания старого тюменца» рассказывают об этой насыщенной, напряженной жизни, о высокой гражданской позиции, о любви к литературе и родному городу.

Г. И. ДАНИЛИНА

ной площади шел митинг, но отец меня туда, в толпу, не повел. Мы шли по улице, и какие-то молодые девушки не то раздавали, не то продавали красные бантики. Один из этих бантов украсил мое детское коричневое пальтишко. Только наша бабушка плакала: «Как же это без царя-то». Но на нее прикрикнули...

Главная улица в Тюмени называлась Царской — какой-то из царей проезжал по ней и останавливался около сквера на Тургеневской, вблизи реального училища. Позднее ее переименовали в улицу Республики — название, существующее и сейчас.

Октябрьской революции я, естественно, не помню — была ли она в Тюмени. По одному эпизоду могу только догадаться, что происходило. Я в шесть лет уже умел писать и написал крупными буквами на листе бумаги слово «забастовка». И выставил этот лист в оконном проеме. Едва ли я понимал, что оно означает, но, очевидно, слышал его в эти дни. Мама убрала плакат и отругала меня за эту неуместную политическую акцию.

Ничего не знаю о политических взглядах отца. Со слов матери я уже позже узнал, что отец накануне революции приносил домой какие-то листовки и другие пропагандистские материалы. Мама устроила скандал и потребовала, чтобы отец немедленно вынес все это из дома. Она очень боялась обыска, ареста.

Под руководством отца я выучил лермонтовскую «Ветку Палестины». Отец любил Некрасова, но книги в доме, очевидно, не было — я позднее нашел в его записной книжке цитаты из Некрасова («Выдь на Волгу...») и из стихотворений И. С. Никитина. Он приобрел «Словарь иностранных слов», а когда умирал, сказал матери, чтобы она берегла его две книги по бухгалтерскому учету — книги по тем временам были дорогие — рубля по два каждая. А тогда с одним рублем шли на рынок, ситец стоил 7 копеек аршин. Отец завещал беречь книги, думая, что я также стану бухгалтером — к этой профессии я с тех пор питаю большое уважение. Но бедный мой отец не мог даже вообразить, что у его сына в зрелые годы полки будут ломиться от сотен книг, журналов и прочей печатной продукции.

Отец умер в феврале 1918 года от инфлюэнцы (так тогда называли грипп) и осложнения на горло.

Летом 1918 года в Тюмень вошли белые, которые простояли в городе чуть больше года.

1 мая 1919 года. Мне еще не было и восьми лет, и потому я, конечно, не мог осознать, какая ситуация сложилась в городе. И скорее всего, я сейчас вспоминаю тогдашние разговоры взрослых о том, что происходило. А обстановка была напряженной, власти ждали стихийных первомайских выступлений. Патрули на улицах, много военных вообще. Ребята, которые были намного старше меня (лет 14–15), устроили на набережной демонстрацию.



Г. А. Токарев.
«Последняя весна». 1985

Их было человек 10–15. Вышли с небольшими белыми (не придерешься!) флажками. Но на флажках было написано: «1 мая». Ребята явно отражали настроения, которые царили в их семьях. Мама, увидев меня, сразу же увела домой, подальше от греха.

15 июля 1919 года Красная армия вернула Екатеринбург и белые покатались на восток. Тюмень они сдали без боя. Около станции Подъем было какое-то непонятное сражение «местного значения». Перед уходом из Тюмени белые офицеры запугивали население, призывали эвакуироваться на Восток вместе с уходящими воинскими частями. Многие поддались этой пропаганде, и потянулись подводы, нагруженные домашним скарбом. Участь этих людей была незавидной — более разумные вскоре вернулись, другие оказались в чужих местах, без кола и без двора; не все выдержали превратности дороги... Мой дядя (муж родной сестры матери) был фельдшером в поликлинике на набережной около церкви. Это была церковь, в которой меня крестили. Рядом стоял двухэтажный деревянный дом, во дворе были пожарная команда и поликлиника. К дяде пришел белый офицер, сказал, что даст коляску, пусть-де собирается. Дядя ответил, что он уже не в том возрасте, чтобы отправиться в неизвестность, и отказался. Офицер не стал настаивать.

Почти двое суток в городе было безвластие. Пожарники объявили, что они берут на себя заботу об охране города. Но никто никого не охранял. К сожалению, население повело себя не лучшим образом. Множество людей отправилось на пристань, где помещались склады. Сорвали замки и начали растаскивать и продукты, и вещи. И это не какие-нибудь жулики, а обычные обыватели. Среди них были и жены пожарников.

Я хорошо помню, как по обоим берегам тянулись вереницы людей: все что-то тащили. И по реке на лодках тоже везли... У жены пожарника мама купила изюм и еще какие-то сладости. Ума не приложу, на какие деньги она их покупала? Ведь менялась власть и вместе ней деньги. Наконец, где-то около трех часов второго дня после ухода белых, на горе, со стороны Затюменки раздались звуки военного оркестра и появились отряды Красной Армии. На площади перед пожарной каланчой, недалеко от казарм, собралось уже много народа, состоялся митинг. Моя тетушка, более легкая на подъем, набросила на голову платок и побежала через мост на ту сторону. Вернувшись,

Альфред ГОЛЬД

ЭКСПОЗИЦИЯ ВРЕМЕНИ

*Моя Россия — угол Первомайской,
дом на углу. Кусты сирени*

райской.

Колонка. Пыль. Дорога. Лебеда.

В тележке на подшпипниках —

беда.

Дорога. Пыль. Трохочущие танки.

И медный марш «Прощание

славянки».

*И батальоны в пыльных облаках,
парящие в дожди*

на плащ-палатках,

*плывущие в пыли на серых скалах,
как будто на спасательных*

кругах...

*Моя Россия — двор с кривым
забором.*

Победный май. Лапта и городки.

*И вечера с неграммким разговором,
когда сойдутся в круг фронтовики.*

*И в том кругу у Вовки-кочегара
всплакнет в руках трофейная*

гитара,

и под нее Дунаева — вдова

споеет «Платочек», пугая слова.

Моя Россия... Нет, она

не в прошлом!

Она во мне тем бытом

заполотным,

тем коммунальным, где и смех,

и горе —

все общее, все в общем коридоре!

Юрий БАСКОВ

СОСЕДИ

Лицаль его дала осечку,
когда татары брали вал.
Татарский воин прыгнул
в речку
и, убегая, избежал
он верной гибели.
И близко
прошел заряд второй:
рука
слегка качнулась казака...

Лишь полыхнула мехом лисьи
папахы быстрая в лесу.

.. Тюмень стояла на мысу.
Орда стояла перед мысом...

Потом пушниной торговал
татарин,
и с монетой мелкой
он укрывался за Тюменкой,
где вольно зверя промышлял.

Казак дивился, как на женке
играет меха серебро...
Водил скотинку,
пил бражонку
и, прихмелев, басил:
— Добро.

Татарин тоже был делами
весьма доволен
и в тиши
монеты с гордыми орлами
передирал:
— Яхши, яхши...

Прошли столетья,
сгнил острог.
Соседи выйдут побалакать:
— Ну, как живешь, Иван?
— Добро.
— А ты, Махмут?
— Яхши, однако.

Но лишь, бывает, в край небес
ударит молния, как выстрел, —
Махмут напоминает лес,
где он бежал в папахе лисьей.

рассказала, что комиссар призвал всех к порядку и спокойствию.

Очевидно, в том же 1919 году, может быть, даже сразу с приходом наших войск, в августе, комендантом города был назначен Запус, из латышских стрелков. У меня долго хранилась газета с объявлением, которое поместил Запус: «Всем карманным вора́м, жуликам! Предупреждаю, что пойманные на месте преступления будут расстреливаться — в два счета!» Мы с мамой по каким-то делам оказались возле вокзала и слышали выстрелы. Оказывается, расстреливали жуликов около водонапорной башни...

Мой дядя был опытным фельдшером, ему доверяли не меньше, чем врачу, и на следующий день он возобновил прием больных в поликлинике. Он пользовался уважением, награждался почетными грамотами органов здравоохранения, и, когда он умер в 1924 году, на его кресте было обозначено, что он 49 лет служил на поприще медицины.

Мы с мамой жили то у ее сестры в квартире при поликлинике, то у ее родителей в Перевалово. Осенью 1919 года я пошел в переваловскую школу. Я уже читал и хорошо считал — даже думали, что обязательно стану математиком. Школа, по-видимому, была двухкомплектной. То есть две учительницы вели занятия во всех четырех классах. Я оказался в первом классе вместе с третьеклассниками, которые занимали соседний ряд. Когда в третьем классе был урок устного счета, я, конечно, быстро подсказывал. Поэтому примерно через две недели меня выставили из первого класса и перевели во второй. Мои соседями были уже ученики четвертого класса, и я им уже ничего подсказывать не мог...

В деревне было много беженцев из европейской части страны: бежали от голода, от разрухи. Местные жители настроены были не очень доброжелательно. «Ржанушники» — называли они беженцев. «Они даже не знают, откуда берутся белые булки». В то время в деревне ржаного



Ю. Д. Юдин. «Старый город». 1992

хлеба просто не было. Пекли только пшеничный. Рожь использовали лишь для изготовления солода, для чего ее замачивали, чтобы она дала ростки, а потом сушили и молотили. Сладкий солод шел на изготовление пива и разных сортов кваса (густого, очень крепкого, и обыкновенного). Ржаной хлеб в Тюмени появился только в 1929 году, его стали давать по карточкам. Но в северных и даже центральных областях России основной культурой была рожь. Вспомним Есенина: «Эти волосы взял я у ржи / Если хочешь, на палец вяжи», «Про волнистую рожь при луне / По кудрям ты моим догадайся», «Обрызганные солнцем люди / Везут в телегах рожь».

Около школы (в Перевалово) была замечательная еловая аллея. Могучие ели

были свидетельством того, что школа построена давно, в XIX веке. После Второй мировой войны мне довелось побывать в Перевалово и я с грустью убедился, что от великолепной аллеи сохранились только отдельные деревья — то ли вырубил во время войны, то ли засохли на корню. Жаль, что в школе не нашлось человека, который организовал бы посадку молодых елей, чтобы восстановить знаменитую аллею. Если почва хороша, то ели растут быстро. После войны я много раз посылал в Переваловскую школу книги, вышедшие при моем участии, но, к сожалению, никто из учителей не отозвался.

Со 2 класса я учился в разных школах Тюмени, пока не попал в школу — девятилетку № 1, которая официально именовалась «опытно-показательной». Она помещалась в здании бывшей женской гимназии (теперь «красный корпус» Тюменского государственного университета). Все учителя по главным предметам были высококвалифицированными специалистами с дореволюционным высшим образованием. Учительница математики полгода провела в Сорбонне, в Париже. Литературу преподавала Евгения Александровна Кирпищикова. Она окончила Высшие женские курсы в Москве (то есть женский университет), очень

гордилась тем, что слушала лекции Петра Семеновича Когана, тогда еще приват-доцента.

Богатством школы была библиотека. На полках стояли тома «Современника» и других журналов XIX в. Собрания сочинений классиков были представлены несколькими разными изданиями. Например, было два разных издания собрания сочинений Шекспира. Вспоминаю такой забавный эпизод. Подходит девочка к окну выдачи книг.

— Что тебе, девочка?

— Мне что-нибудь серьезное... Дайте мне Поль де Кока.

Взрослые, достаточно грамотные ребята, стоявшие рядом, прыснули от смеха.

— А что они смеются? — возмутилась девочка.

— Но ты пойми, — отвечает библиотекарьша, — если тебе нужно что-то серьезное, назови Шиллера или Достоевского. Поль де Кока никак не отнесешь к числу серьезных авторов.

Девочку очаровало его имя, такое эффектное... Она задумалась.

— Я все-таки хочу Поль де Кока.

Ей выдали то, что она просила.

Найдите теперь какую-нибудь школу, в которой есть два многотомных собрания сочинений Шекспира и если не Поль де Кок, то другой французский писатель — собрание сочинений Стендаля или Бальзака...

В 8 классе я стал юнкором тюменской газеты «Трудовой набат» (переименованной позднее в «Тюменскую правду»). Одна из первых моих заметок была посвящена Л. Б. Красину. Л. Б. Красин, советский дипломат (в память о нем был назван ледокол), в молодые годы жил в Тюмени, учился в реальном училище (ныне сельскохозяйственная академия). Я предлагал отметить его связь с городом специальной памятной доской. Доска была установлена.

Сейчас я уже не помню тематику моих заметок. Но я писал и небольшие очерки, например, о престольном празднике в Перевалово. Каждая деревня имела свой день в календаре. В Перевалово это был Петров день, 12 июля. Съезжались гости, родственники из соседних деревень. В одном из сараев была устроена сцена, и к этому дню подготовлен самодеятельными артистами спектакль. Иногда приезжали фокусники или кукольники. По селу в первый и второй день праздника шествовал «круг», то есть двигались через все село по кругу, а внутри шествия создавали «малый круг»: первые ряды отходили в сторону, а потом становились позади, причем шли в рядах и гармонисты, пели песни, частушки на темы, для села злободневные. Например, незадолго был пожар в соседней деревне Гусево, когда выгорело почти полдеревни. Звучала частушка:

*Девки, Гусево горело,
Все пьянчужки собрались,
Лавку с водкой разгромили
И все перепились.*

Вот такую жанровую картинку я изобразил в своем очерке.

В газете каждый месяц печаталась литературная страница. Я дважды выступил со стихами, которые не принесли мне славы, а учительница упрекнула меня за неправильные ударения (чего в редакции не заметили). Однажды меня вызывает завуч и говорит: «Сережа, ты вот печатаешься в газете. Не мог бы ты написать, что школе отказано в ремонте». Я, как опытный журналист, попросил показать всю документацию по этому вопросу (переписку с гороно). Через некоторое время на четвертой полосе газеты появилась моя заметка о том, что школа нуждается в ремонте (строк 20–25). Газета была органом горкома партии и горисполкома. Я как автор заметки отходил на задний план, это не я, а газета ставит вопрос, и соответствующая организация, в данном случае гороно, обязана

была быстро реагировать на публикацию, признать или не признать доводы газеты убедительными. Через пару дней в школе появились представители ремонтно-строительного отдела горно и признали выступление газеты правильным. Вскоре пришел официальный ответ (копия — редакции), что школа включена в план ремонтных работ на летний сезон.

Можно себе представить, каким героем я стал в школе! Завуч меня благодарил, учителя улыбались: надо же, Сережа заставил горно провести ремонт! Думаю, что редакция газеты обсудила мою заметку с дирекцией школы, уточнила факты и только тогда отдала заметку в набор.

Вспоминаю один из эпизодов тюменского быта конца 20-х годов. В один из воскресных летних дней было показано на реке театральное представление, посвященное Степану Разину. Большие лодки были перестроены под струги с высоким носом. За веслами сидели бородатые казаки в каких-то причудливых шапках, на переднем струге сидел «Стенька Разин» с «персидской царевной» на коленях. В определенный момент он поднял ее и бросил в воду. Тура — не Волга, и зрители, собравшиеся на обоих берегах, могли хорошо разглядеть лица всех участников этого спектакля. Артистка, игравшая роль царевны, была очень хорошей пловчихой. Она нырнула, разгоняя ершей и чебаков, обильно населявших тогдашнюю Туру, и выплыла, когда лодки уже ушли вперед, вверх по реке. Там на берегу была приготовлена палатка, где она переоделась, и ее увезли домой.

На следующее утро в редакции газеты («Трудовой набат») я попал на встречу с героиней вчерашнего спектакля. «Царевна» кашляла, шмыгала носом и жаловалась на то, что вчера простудилась в не очень теплой Туре. Один из сотрудников готовил для завтрашнего номера информацию о празднике на воде и брал интервью у артистки.

При редакции газеты «Трудовой набат» существовала литературная группа — ТАПП — Тюменская ассоциация пролетарских писателей, которая объявила себя филиалом РАППа. Собирались по воскресеньям, читали свои произведения, рассказы и стихи, делали доклады. Я имел неосторожность выступить с докладом о художественном своеобразии повести Л. Толстого «Казаки». Меня просто обругали — конечно, что мог сказать школьник на эту непростую тему. Но поскольку я много печатался, меня приняли в ТАПП, выдали соответствующий билет, и я платил членские взносы.

Секретарем ТАППа был Антон Кунгурцев — единственный настоящий талантливый поэт. Он потоянно печатался в свердловских газетах. Работал он для заработка библиотекарем. Когда я в 1929 году уехал из Тюмени и поступил в Пермский пединститут, мне сообщили, что Кунгурцев арестован. Его расстреляли. Летом 1930 года я встретился с его вдовой, она сказала, что Антона реабилитировали, но выпустить сборник его стихов не разрешили. Надо надеяться, что «Тюменская правда» вспомнит о своем давнем литсотруднике и приложит усилия, чтобы напечатать сборник его стихов. Антон Кунгурцев по стилю был имажинистом. К сожалению, я не помню ни одного его стихотворения, только одну строчку:

Туман над озером повис, / как голубая мышеловка...

В 1924–25 году была опубликована поэма А. Безыменского «Комсомолия». Высокими художественными достоинствами она не отличалась, но отдельные фрагменты были у многих на устах. Таков шуточный пассаж:

*Все мы ходим под Цекою
Под Цекой никто не съест,
Ты, скажем, пожелал учиться,
Мол, так и так, я очень «сер»,
Оно ж пошлет тебя лечиться
Иль даст мандатец в ДВР.*

(ДВР — Дальневосточная республика. Так именовали в то время Приморскую область. — С. Т.). Вот еще какие слова были там:

*Ленин и Троцкий! Ленин и Троцкий!
Сколько вместилось в вас наций и стран!
Я — несмышлениш, но я — заводский,
Мы языки одного костра.*

Ни о каком Сталине в те годы не слышали. В последующих изданиях поэмы этот абзац, конечно, исчез, но надо думать, что в 1937 году автору было неуютно: «А вдруг вспомнят?». Я был в 7 классе, когда в конце декабря 1925 года С. Есенин покончил с собой. Все внимание обратилось к нему, и Безыменский отошел на второй план.

Другой акт варварства (после расстрела Кунгурцева) был связан с переселением библиотеки. В свое время по инициативе Н. К. Крупской было принято постановление Совнаркома, запрещающее всякие посягательства на библиотечные здания. Но чекистам закон не писан. Они вели себя как государство в государстве, не считались ни с партийными, ни с советскими органами. Не случайно после смерти Сталина одно из обвинений в адрес Л. П. Берии было то, что он пытался органы безопасности поставить и над партией, и над правительством. Выселяли библиотеку срочно, по-военному, «в два счета». Библиотека размещалась в очень удобном помещении, в двухэтажном каменном доме на углу улицы Семакова и Республики — чекисты сделали его своей собственностью. Недавно его снесли, и на этом месте построена библиотека Тюменского государственного университета.

При выселении библиотеки не было возможности ни упаковать книги, ни связать — перевозили навалом в Спасскую церковь. Церковь эта двухэтажная, первый этаж отапливался, а второй был летний, без отопления. На первом этаже устроили читальный зал, а книжные шкафы в основном разместили на втором, и мне, с детских лет ценившему книгу, было больно смотреть, как на лестнице, ведущей на второй этаж, лежали груды книг, некоторые рассыпались, листы выпали.

Директором библиотеки был Шестаков (имени не помню), человек очень доброжелательный, общительный. В его кабинете собирались молодые люди, в том числе такие школьники, как я. Читали стихи. Я прочел «Песнь о Соколе» Горького. Какой-то молодой инвалид прочел эту же поэму так, что все его симпатии были на стороне Ужа. Начинались споры. В этих встречах участвовала и одна молодая актриса драматического театра. Она учила нас читать стихи выразительно. Шестаков как-то вынул из груды книг двухтомник «Путевых картин» Гейне и подарил мне. Эти книги и сегодня хранятся в моей библиотеке,



Ю. А. Рыбьяков.
«Серебристый день». 1980

что можно назвать чудом, потому что я в молодые годы потерял две библиотеки...

Насколько я помню, все тюменские церкви использовались не по своему прямому назначению. И дело не в том, что их кто-то закрывал, как теперь иногда говорят. Ведь с первых лет после Октября велась активная антирелигиозная пропаганда. Массовым тиражом выходил журнал «Безбожник». Его можно было увидеть в любой сельской избе-читальне (были такие). Заметную роль в этой пропаганде играл Демьян Бедный. В одном из стихотворений С. Есенин жаловался, что в родном селе его забыли, а «поют частушки Бедного Демьяна»². В то время имя Д. Бедного (1883–1945) стало знаменем для руководителей РАППа, появился лозунг «одемянивание литературы», против которого выступал В. Маяковский. Усилия Д. Бедного в антирелигиозной пропаганде поддерживались в выступлениях видного советского публициста Е. Ярославского (для людей более грамотных он опубликовал свою «Библию для неверующих»). В итоге верующие остались только среди пожилых людей. Церкви просто пустовали.

Совершенно по-другому сложилась судьба старого собора на площади напротив пожарной каланчи. Этот собор, построенный при Петре Первом, необычный, но очень интересный по архитектуре. Он отличался от других церквей, имел вид башни с куполом, украшенной одной «луковицей». В нем размещался антирелигиозный музей. Я помню, что там были собраны реликвии разных религий, в том числе была большая статуя Будды. Собор охранялся государством как памятник старины. Не знаю, как это получилось, но пожарники решили использовать здание собора. Почему и кто им разрешил, как вообще это допустили, но музей был выселен, а собор взорван. Очевидно, это дошло до Москвы, и было возбуждено уголовное дело. Зачинщиков из пожарной команды судили и дали им по два года заключения. Но самого выдающегося архитектурного памятника в Тюмени не стало. Мне кажется, что его надо бы по старым чертежам восстановить...

В 1928 году я окончил девятилетку. Она была с педагогическим уклоном, в 9 классе изучали педагогические дисциплины. По окончании средней школы моя одноклассница Люба (будущая поэтесса Любовь Марковна Карabanова, 1911–1963) посвятила мне стихотворение, которое заканчивается словами:

*Жизнь сурова. Пора идти.
Я надеюсь, что где-то встретятся
Голубые наши пути.*

В том, что жизнь сурова, каждый из нас убедился на собственном опыте. А вот насчет «голубых путей» все оказалось довольно проблематично.

Не все было просто уже на первых шагах, когда меня направили в сельскую школу села Успенского в 30 километрах от Тюмени. Школа была трехкомплектной, то есть в ней было три учителя. Двое из них — муж и жена — уже опытные педагоги. У меня были второй и четвертый классы (человек 10–12 — четвертый и два ряда парт — человек 30 — второклассники). Урывками я подходил к старшим, давал какие-то задания и снова — к второклассникам: их-то занять было трудно. Меня плохо слушались, были случаи, когда, не справившись с аудиторией, я прерывал урок и шел в соседний класс, где и просил заведующего помочь мне. Он приходил и наводил порядок, после чего урок продолжался.

1 августа 1930 года Люба мне писала:

*Здравствуй, друг мой, длинный и очкастый,
Мой печальный школьный педагог.*

*Мы с тобой пока что педагоги,
Серые жучки — учителя...
Подожди! О нас еще услышит
Что-нибудь чудесное земля.*

В 1929 году я поступил в Пермский педагогический институт³.

Мой товарищ с 6 класса Владимир Неустроев (1911–1986, впоследствии известный германист и скандинавист) также поехал в Пермь вместе со мной, но на вступительных экзаменах провалил математику и не был принят. Состав студентов на I курсе был пестрый. Были люди грамотные, даже одаренные. Так, со мной училась Ольга Иосифовна Артемьева, обладавшая незаурядным актерским дарованием (потом она стала артисткой). Чуть позднее поступил в институт и будущий известный саратовский писатель, главный редактор журнала «Волга». Это Григорий Иванович Коновалов (1908–1987). Он учился вместе со мной. В его романе «Университет» (опубликован в 1947) представлены события, происходившие в 30-е годы в Пермском пединституте, когда увольняли старых профессоров и заменяли их молодыми кадрами. Среди героев романа есть и реальные лица. Например, Сергей Татауров, который буквально сгорел на работе, когда по решению руководства института готовил труднейший курс методологии литературы.

Первый семестр мы учились по прежним учебным планам. Лекции читали видные ученые, среди них В. В. Гиппиус. В юности он был близок А. Блоку. Он читал «Введение в литературоведение» и русскую литературу XIX века. Но вот наступили тридцатые годы, героические и трагические. К власти пришел Сталин. Впервые мы услышали его имя в 1929 году, когда он выступил в Институте философии с речью «На хлебном фронте». В 1929 году ввели карточную систему. Проведя жестокую, юридически и политически ничем не обоснованную операцию по раскулачиванию, он оставил страну без хлеба.

Но вот в чем парадокс: перестройка, развернувшаяся в стране, первые успехи индустриализации (Горьковский автомобильный завод, Челябинский, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы) — все это поражало воображение. Шведы имели приоритет в производстве шарикоподшипников — реклама уверяла: «на шведских подшипниках вертится весь мир». А в Москве уже в 1930 году строился огромный завод шарикоподшипников, и от шведов мы вообще не зависели.

Да, величественное и трагическое были рядом, ощущение причастности к великим свершениям века соседствовало с горечью и болью.

В конце июня 1929 года мы с Любой приобрели туристические путевки в Крым (кстати, я всего год проработал в сельской школе и имел возможность купить такую путевку и оплатить дорогу — помочь-то мне никто не мог).

Мы ехали через Москву. Нас повели на самую высокую точку — на верхнюю площадку десятиэтажного дома на Большом Гнездиновском, отсюда был виден Храм Христа Спасителя⁴. Нас пригласили принять участие в субботнике по возведению «Шарикоподшипника», и мы ощутили большую гордость, что стали участниками одной из больших строек.

В пути на одной из станций мы оказались рядом с поездом, шедшим в обратном направлении — в Сибирь. Поезд охраняли солдаты. Напротив нашего окна стоял товарный вагон с открытой дверью. Это везли раскулаченных. Одна девушка, одетая в национальный костюм, крикнула нам: «Поклонитесь нашій рідній Україні...»

Разукрашенная разноцветными лентами, словно на праздник, она и сейчас стоит перед моими глазами. Что ее ожидало? Погибла ли она где-то на болотах нашего Тюменского Севера или выжила и дожила до XX съезда?

В марте 1930 меня, студента I курса, послали в колхоз. Вместе со мной был бухгалтер одной из пермских контор. Создавался огромный колхоз, объединявший целый район, то есть десяток селений. Мы с бухгалтером составляли планы – сколько надо рабочей силы, сколько семян, сколько лошадей (машин еще было мало). Вернувшись в институт в конце марта, я опубликовал в институтской газете большой, на целую полосу, очерк под претенциозным заголовком «Восстание гектаров». С восторгом я писал об огромных масштабах перестройки всего социального уклада в деревне. Но тут вышло Постановление ЦК ВКП(б), осудившее «гигантоманию». Колхоз должен объединять не целый район, а две-три соседние деревни. Меня в институте, конечно, «проработали» за то, что я восхищался не тем, чем надо.

Сейчас мне нелегко объяснить, как это получилось, но у меня сложились трудные отношения с комсомольцами нашей группы. Девочки I курса на комсомольском собрании дружно проголосовали против приема меня в комсомол. Общественное положение мое стало шатким, меня поспешили снять со стипендии. Я сдал экзамены за первый курс и подал заявление об академическом отпуске. Один год я провел в Тюмени, преподавал русский язык в школе ФЗУ. Через год я вернулся в Пермь и оформился на экстернат. Тут мы снова встретились с В. Неустроевым.

По окончании Пермского пединститута в 1933 году я вернулся в Тюмень и в ожидании призыва на действующую военную службу преподавал русскую литературу и русский язык в медицинском и землеустроительном техникумах. Кроме того, я имел часы по истории в одной из средних школ. Курс этот назывался тогда «История классовой борьбы» и поручали его только членам партии. Я был беспартийным, и требовалась санкция горкома партии. Меня пригласили на собеседование и разрешили рассказывать о классовой борьбе...

Только в марте меня вызвали в военкомат. Лица с высшим образованием служили тогда год, а у меня, в связи с поздним вызовом, срок этот сократился до 9 месяцев. Мы, одногодичники, были зачислены в полковую школу и провели летний период в лагере в центре Урала, около станции Бершеть. Меня, как единственного филолога среди одногодичников, политрук назначил заведующим Ленинской палаткой, т. е. своеобразным клубом полковой школы, где были газеты, журналы, книги политические и по военному делу, на стенах – портреты Сталина и Ворошилова.

И вот какой любопытный эпизод произошел в начале июня 1934 года. Однажды вечером политрук вызывает меня и говорит: «Тураев, надо заново оформить Ленинскую палатку. Бери себе художни-

Александр ШИХАРЕВ

ПРОЛОГ К ЗИМЕ

*Наверно, только тишина
так властно управляла мной,
как эта старая стена
с улыбкой странной и сквозной.*

*В лохматых струнах кирпичей,
в отрепьях мха, в густой траве
стоит стена виолончель,
прижав к груди свое «аве»!*

*Простите, это невпопад,
ну что тут можно объяснить,
когда тепла порвалась нить
и листья с дерева летят!*

*И, рассыпаясь на ветру,
цветные пляшут лоскутки,
и вдруг потрескавшихся струн
берез касаются смывки.*

ков, я вас всех освобождаю от строевых занятий, и чтобы через три дня все было обновлено». Я сказал: «Товарищ политрук, мы только все оформили». Он со всей прямолинейностью заявил: «Я только что был в политотделе дивизии и получил указания: везде должно стоять слово «Родина».

В основе своей политрук правильно понял задачу. В политическом лексиконе появилось новое слово «Родина»; и это слово призвано было обозначить переворот в сознании людей. Для В. И. Ленина (периода Гражданской войны) и особенно для Л. Д. Троцкого (на протяжении всей его жизни) лозунг мировой революции оставался на повестке дня. Троцкий утверждал, что перед нами 50 лет войны и революций. Официальным гимном Советского Союза оставался «Интернационал», где ни слова не говорится о родине, а ясно и точно сказано:

Весь мир насилья мы разрушим...

Сталин понял, что если начнется война, то будут сражаться не за мировую революцию, а за свою Родину. В 1943 году Интернационал был заменен гимном Советского Союза (возможно, не без давления со стороны союзников, которых, конечно, шокировало, что в нашем гимне мы призываем разрушить весь капиталистический мир). Тогда же был распущен и Коминтерн.

Идея интернационала оставалась запечатленной на гербе Советского Союза, где на языках всех союзных республик был отчеканен девиз: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Великая Отечественная война (1941–1945) велась под лозунгами «За Родину!», «За Сталина!»

В наше время, новому поколению людей трудно себе ясно представить, как это могло быть, что миллионы солдат шли в бой и умирали под эти призывы. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь! Так было.

Вернемся на Урал, в летний лагерь под Бершетью. В стенной газете была нарисована карикатура на Тураева: длинный, в коротких кирзовых сапогах, с винтовкой в одной руке и с длинным узким ящиком в другой. Этим ящиком была складная витрина — с газетами, журналами, брошюрами. Ящик я таскал во время длинных походов и раскрывал его на привалах в виде витрины...

А однажды, в почтовый день, я получил два письма из Ленинграда, одно — от Любы, другое — от ее подруги Лели Френкель, будущей переводчицы немецких средневековых текстов. Обе девушки радостно сообщали, какие они сдали предметы и какой это вообще замечательный институт ЛИФЛИ.

Люба знала, что я не был удовлетворен образованием, полученным в Пермском пединституте, где срок обучения был сокращен до трех лет, и предложила мне попытаться поступить на третий курс: к демобилизованному отнесутся доброжелательно.

В Тюмени я жил с тетушкой, самым близким мне после мамы человеком, и она с нетерпением ожидала, когда я вернусь из армии. И вот такой для нее удар: я приехал после демобилизации в ноябре, чтобы быстренько собраться, продать на дорогу некоторые мамины вещи и покинуть Тюмень навсегда.

Если в Перми я как-то выделялся и даже этим кое-кого раздражал, то здесь, в Ленинграде, я выглядел как провинциал. Среди студентов III курса были внук Н. Римского-Корсакова, свободно владевший несколькими иностранными языками, сын известного ученого Выготского, читавший Гегеля в оригинале, и талантливый Н. П. Верховский⁵.

Люба не стремилась к академическим вершинам, но она была душой нашего западного отделения, все ценили ее остроумие, ее стихи, и лирические, и шуточные. Помню, она после экзамена по античной литературе написала гекзаметром двестише, якобы найденное в песках Египта.

*Пишешь любимой письмо — никогда не наклеивай марок —
Будет дороже оно, если дойдет доплатным⁶.*

Люба дружила с Волей Римским-Корсаковым. Она посвятила ему одно из самых проникновенных своих стихотворений. Оно завершается такой строфой:

*...Друг мой милый, прости!
Я ни в чем не тверда.
Все так больно, так быстро, так смутно вокруг.
Я стою...но зачем? Я иду...Но куда?
Помоги мне, мой добрый, мой ласковый Друг.*

(13 февраля 1937 года)

И каким же ударом для Любы было мое письмо, написанное из Москвы после эвакуации из блокадного Ленинграда о том, что Воля умер от голода⁷.

Перехожу к послевоенным годам. Прошло всего два с половиной года после окончания войны, и в декабре 1947 была проведена денежная реформа и отменена карточная система. В книге Л. И. Брежнева «Возрождение» (независимо от того, кто помогал автору в литературной обработке материала) хорошо — надо отдать должное! — показан этот пафос восстановления.

Есть один эпизод в моих воспоминаниях. Как известно, до войны началось строительство Дворца Советов. Это должно было быть высотное здание, увенчанное стометровой статуей Ленина. Был заложен мощный фундамент — огромные стальные «башмаки», для которых разработали специальную марку стали «ДС». Точно не помню, где-то в 30-х гг. я проезжал через Москву. Тогда от этих «башмаков» поднимались стальные конструкции, обозначившие контуры первых этажей. Конструкции поднимались уже на очень большую высоту (30–40 метров). Когда после войны началось восстановление разрушенных мостов, конструкции Дворца демонтировали и использовали как мостовые фермы. Н. С. Хрущев почему-то отказался от завершения строительства, и Дворец Съездов был построен в Кремле.

5 марта 1953 года умер Сталин. Завершился целый этап в жизни советского государства: эпоха героических первых пятилеток, тяжелого ратного подвига в Великой Отечественной войне и новых героических усилий по восстановлению разрушенного хозяйства. В день похорон Сталина улица Горького была пустынной — все улицы и переулки от ул. Герцена были перекрыты войсками, размещавшимися на грузовиках, поставленных поперек улицы. Нескончаемый поток людей двигался к Колонному залу Дома Союзов, где стоял гроб с телом Сталина. Очередь, строго ограждаемая конной и пешей милицией, растянулась на километры. На скользком спуске от Рождественского бульвара на Трубную площадь образовалась давка — «Ходынка», во время которой погибло много людей. Я тогда работал в Библиотечном институте. У нас погибла одна студентка, попавшая в эту мясорубку на бульваре. Так к миллионам жертв сталинского режима прибавились еще жертвы на похоронах «вождя народов».

И жертвы эти были следствием какого-то безумия, охватившего людей. Взяв с собой паспорт, я вышел на пустынную ул. Горького и прошел до площади Пушкина. Очередь, продвигавшаяся по Пушкинской улице, была отделена от площади милицейской цепью, и многие хотели перехитрить и прорваться к Дому Союзов дворами. Въезд во двор со стороны площади был закрыт железными воротами, и люди пытались перелезть через ворота. Какие-то женщины, не считаясь ни с чем, лезли на ворота. Вдруг эти ворота почему-то распахнулись, и люди повалились на землю... Теперь трудно понять это безумие — людей, охваченных желанием еще раз увидеть великого Сталина, которого до этого видели только на праздничных демонстрациях, когда он стоял на трибуне Мавзолея.

Здравомыслящие люди размышляли: что же дальше? На последнем при жизни Сталина партийном съезде (XIX) с отчетным докладом выступал не Сталин, а Г. М. Маленков. Из воспоминаний его сына стало известно, что Мален-

ков очень боялся Берии, который обладал огромной властью. В его распоряжении была крупная военная сила — ОМЗДОН (Отдельная Московская имени Дзержинского дивизия особого назначения). Мне довелось близко видеть молодчиков из этой дивизии, когда я был призван из части, в которой служил, для работы с немецкими военнопленными. Я как-то дежурил в помещении, рядом с которым находились эти головорезы. Они только что вернулись с операции по выселению чечено-ингушей и отмечали завершение операции торжественным ужином, пьянствовали всю ночь...

Москва была окружена кольцом лагерей. Здесь сидели люди, получившие небольшой срок — 2–3 года. Их не отправляли в дальние лагеря, а собирали под Москвой. В 1948 году мне выпала печальная обязанность носить передачи одному из близких людей. В первый раз я просто заблудился среди множества лагерей на севере Москвы (район нынешнего Строгино). Дежурные в проходной отказывались отвечать на вопрос, где найти искомый лагерь. Пришлось обойти несколько лагерей, пока я нашел тот, который был мне нужен. На окраине поселка «Строитель», где я потом обзавелся дачей, был небольшой женский лагерь. Спустя две недели после смерти Сталина была объявлена амнистия для тех, кто имел срок не более трех лет. Почти все лагеря ликвидировали, исчезло кольцо из колючей проволоки вокруг Москвы. В этом женском лагере было особенно шумно — женщины бурно радовались предстоящей свободе и кричали: «Ура! Ворошилову», хотя Ворошилов тут был ни при чем, просто Указ был подписан его именем.

В этом акте амнистии было что-то от абсурда. Амнистию обычно объявляют в честь какой-то победы или годовщины победы, в честь радостного события. А тут получилось так: умер генсек, и вот, пожалуйста, амнистия! Но осужденные по статье 58 (антисоветская деятельность), имевшие не менее 5 лет, были освобождены только в 1956 г., после XX съезда партии, на котором Хрущев разоблачил Сталина.

В последние годы «царствования» Сталина мы видели только успехи, радовались и гордились ими. Трагические аспекты «культы личности» мы в полной мере осмыслили только в 1956 году, когда Н. С. Хрущев выступил на закрытом заседании XX съезда с разоблачением Сталина. Доклад этот не был опубликован, но был оглашен во всех трудовых коллективах, учреждениях и даже в старших классах средних школ. Помню, как после окончания чтения этого доклада в ИМЛИ в зале наступило молчание. Все как будто оцепенели. Председательствующая на заседании пожилая женщина — секретарь партбюро — как бы про себя сказала: «Да, шекспировские трагедии бледнеют перед этой исторической трагедией целого народа...»

Летом 1956 года я впервые после долгого перерыва побывал у родных в Тюмени. На обратном пути поезд был переполнен ссыльными и заключенными, которые были освобождены по распоряжению Хрущева. «Оттепель» — так называлась новая повесть И. Эренбурга, посвященная этому времени. В институте, где я работал, моим «шефом» был Роман Михайлович Самарин, заведующий отделом зарубежной литературы. Он говорил мне: «Сергей Васильевич, мы с Вами многое пережили, сегодня — оттепель, завтра — заморозки». Он оказался прав: пришел Л. И. Брежнев и принес «заморозки». И снова абсурдная ситуация: Сталина теперь не критиковали, просто умалчивали, как будто его и не было. И только в декабре 1979 г., в честь столетия со дня рождения «великого кормчего», была опубликована статья, очень половинчатая, в которой «позитив» все же превалировал над «негативом».

Не везло нашей стране.

Удивительно, что наши партийные лидеры плохо знали историю своей партии, в частности, в том, что касается политики в области культуры. Известно, напри-

мер, что В. И. Ленин посетил так называемые Мастерские ВХУТЕМАСа (об этом напоминает памятная доска на Сретенском бульваре). Там были сплошь авангардисты. Но он их не разогнал. Отношение его к Маяковскому очень близко к тому, что говорила мне школьная учительница Евгения Александровна — она «не понимает Маяковского». Ленин говорил, что предпочитает классиков. Наконец, резолюция РКП(б) от 1925 г. о политике партии в области литературы не выражает никакого предпочтения РАППу: пишите, как хотите, только оставайтесь на позициях советской власти. Когда Н. С. Хрущев был уже на пенсии, он, по словам его фотографа, навещавшего его на даче, сожалел, что ввязался в эти споры об искусстве: «Это Фурцева меня настроила». Вольно было ему ставить Фурцеву во главе министерства культуры, эту малообразованную даму. Мы-то просто смеялись над ней, когда она говорила: «Вот в ИМЛИ готовят 4-томную историю французской литературы. Лучше бы сделали один том, тогда и мы, грешные, может, прочли бы». У нас на эти рассуждения реагировали с улыбкой, вспоминая, кстати, что был такой нарком Луначарский, который сам написал двухтомную историю западноевропейской литературы.

Как литературовед я при Брежневе не испытывал особого давления, во всяком случае такого, как при Сталине, когда мы в своих научных трудах боялись друг друга цитировать! Работы выходили без цитат (из опасения упомянуть того, кого арестовали). Я приверженец исторического материализма Маркса, и мне не нужно было как-то приспособливаться. К тому же я занимался классикой. Правда, некоторое время я возглавлял группу социалистического реализма в литературах Запада. При моем участии вышло несколько книг в этой группе. Но мне было трудно, так как XX веком (кроме ГДР) я не занимался, и вскоре полностью переключился на XVIII век и возглавил работу по созданию пятого тома «Истории всемирной литературы». Но для «Литературной энциклопедии» мы с Л. И. Тимофеевым написали статью «Социалистический реализм» (в 7 томе). Статья проходила через обсуждение в двух местах: в отделе советской литературы ИМЛИ и на кафедре литературоведения Академии общественных наук при ЦК КПСС. Тут возникла острая ситуация: по-видимому, их возмущало уже то обстоятельство, что такую ответственную в идеологическом плане статью поручили двум беспартийным авторам. Леонид Иванович на обсуждение в Академию общественных наук не поехал, предоставив мне отбиваться от оппонентов. Меня раскритиковали. Главный упрек был связан с тем, что я настаивал на многообразии такого явления, как социалистический реализм, а они догматически настаивали на его единстве. И по-видимому, наши оппоненты сочли, что полностью нас разгромили. Я доложил Леониду Ивановичу (о положении дела) и напечатал текст таким, каким он у нас сложился, ничего не меняя. Кстати, у нас в ИМЛИ беспартийными были некоторые заведующие отделами и даже один из заместителей директора.

Во время моего последнего посещения Тюмени в 1956 году я встретился с Любой и каждому из нас было о чем рассказать. Она работала в отделе писем редакции и была очень довольна — письма давали ей богатый материал для очерков на бытовые семейные темы. Очерки пользовались большой популярностью среди читателей. Об этом мне писала одна моя родственница, которая газет, как правило, не читала, но очерки Л. М. Карабановой обязательно привлекали ее внимание. И когда Люба умерла 15 декабря 1963 года, за гробом шли не только сотрудники, но и многие из читателей, опечаленные ее ранней кончиной.

Мне хотелось опубликовать ее стихи. Для этого ее дочь Ирина Викторовна прислала мне рукопись. В редакции сказали, что для издания нужна авторитетная рецензия члена Союза писателей. Поэт, которому мы дали прочитать стихи Любы, отказался одобрить издание, заявив, что «теперь так не пишут». Что он имел в виду — не знаю, очевидно, он не признавал традиционную строфику.

Во время последней встречи Люба мне вручила стихотворение, которым я и завершаю это повествование:

С. ТУРАЕВУ

Тюмень, 1 августа, 1956 г.

*Мы снова встретились — и разойдемся снова:
У каждого своя судьба, свой путь.
За что-то жизнь ко мне была сурова,
И ничего нельзя обратно нам вернуть.*

*Я помню все, хотя прошло полвека,
И мне забыть тебя не суждено,
Жестокого, родного человека...
...Но в прошлое захлопнулось окно*

*И снова — ты в Москве, а я в Тюмени,
Ты — чей-то муж, я — верная жена...
Зачем тревожить эти злые тени,
Ведь осень близится, давно прошла весна.*

Москва, январь — март 2001 года.



ПРИМЕЧАНИЯ

¹Тураев С. В. Мои учителя, мои старшие коллеги // Вестник университета Российской Академии образования. 1998. № 2 (6). С. 174-190.

²Демьян Бедный, непонятно каким образом, уже в первые годы советской власти поселился в Кремле, заняв там большую квартиру, в которой разместил свою огромную библиотеку. Он был страстным библиофилом и еще до революции начал собирать книги. Публикуя свои сатиры, он однажды напечатал поэму, в которой высмеял Крещение Руси. Сталин этого не выдержал, сразу опубликовал в «Правде» заявление, в котором отмечал прогрессивный характер Крещения Руси и позицию Демьяна Бедного назвал грубо ошибочной. Авторитет Бедного был сразу подорван, и встал вопрос: почему он, собственно, живет в Кремле?

Его выселили, дали какую-то скромную квартиру, в которой не умещалось все его огромное собрание книг. Многие раритеты вскоре появились у букинистов.

³См. об этом в моих мемуарах «Мои учителя, мои старшие коллеги».

⁴Думал ли я, что через полвека поселюсь в этом самом доме!

⁵О Н. П. Верховском см.: Гетевские чтения. 1999. М., 1999. С. 254.

⁶В то время письма без марок не уничтожались на почте, а с получателя взимали двойную сумму стоимости письма.

⁷О самоотверженной работе Н. Верховского и В. Римского-Корсакова в Ленинградском радиокомитете писала Ольга Берггольц в своей книге «Дневные звезды».

Леонид Анатольевич Вараксин

ТЮМЕНЬ 1950–1960-х гг.: ГОРОД И СУДЬБА

(заметки филолога)

Т Почти вся моя жизнь связана с Тюменью. Это мой родной город. Где бы я ни жил в других местах, я не чувствовал себя дома. В Тюмени мы с мамой жили во время войны на углу улиц Полевой и Луначарского. Сейчас этого дома уже нет. Стоит стандартная пятиэтажка с «Тюменским кредитом» внизу. Сохранилось здание детского сада, куда я ходил пяти-, шестилетним. Это угол улиц Ирбитской и Луначарского.